

Ки Сун Хон

## «ОПЫТЫ» МОНТЕНЯ И «ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» ДОСТОЕВСКОГО

〈Одна из основных тем «Записок из подполья» Достоевского — вопрос о возможности установления общества на основаниях морали, разума и взаимного уважения людей друг к другу. Эта тема реализуется в описании внутреннего мира индивидуального «я» человека и цепи его поступков, вытекающих из присущей ему системы ценностей. Работая над произведением, писатель искал решение философского вопроса, тревожившего его на протяжении всей его жизни, начиная с юношеского возраста, — о роли и степени действенности добра и зла в жизни людей и установленных ими социальных систем.〉

Как отмечает комментатор этого произведения в *ЛСС* Е.И.Кийко, писатель еще в 1859 г. задумал написать большой роман на эту тему под названием «Исповедь» (см.: 5; 379). Замысел претерпел ряд изменений, и окончательный текст «Записок из подполья», скорее всего, сильно отличается от задуманного Достоевским вначале. На это, в частности, указывает авторская правка, которую писатель сделал во втором издании повести в 1865 г., убрав указание на то, что впоследствии будет продолжение, которое составит «целую книгу» (5; 375). Фактически повесть «Записки из подполья» — это начало большого и недописанного романа.

〈Первая половина произведения («Подполье»), где содержится основная часть философских размышлений автора, была создана в начале 1864 г., в период тяжелого кризиса, который переживал писатель: болезнь М.М. Достоевского, запрет в середине 1863 г. журнала «Время», неясное положение «Эпохи», денежные долги — всё это создавало обстановку, мало способствовавшую продуктивной работе. Однако Достоевский, начиная повесть, думал прежде всего о решении творческих задач.〉 в письме брату



от 20 марта 1864 г. он сообщал ему, что художественное совершенство «Исповеди» безусловно нужно ему самому. Художественный прием, который Достоевский опробовал в этой повести и который принес ему успех в последующих произведениях, — это описание процесса самосознания человека с беспощадным моральным анализом и самоанализом.<sup>1</sup>

Глубина этико-психологического обнажения литературного героя, которая реализована здесь Достоевским, оказалась шоком для современников. Даже один из ближайших друзей Достоевского в тот период, Н.Н.Страхов, решил, что повествовательность такого рода невозможна, и потому отождествил реального автора «Записок из подполья» с героем его произведения. Об этом, по его мнению, полном морально-психологическом слиянии авторского «я» и повествователя «Записок из подполья» он написал Л.Н.Толстому после смерти Достоевского.<sup>2</sup>

В поисках нужной формы «исповеди» писатель не обошелся без литературных предшественников. Чаще всего исследователи вспоминают в этой связи «Исповедь» Ж.Ж.Руссо<sup>3</sup>, исповедальные пассажи пушкинского Альбера («Скупой рыцарь»)<sup>4</sup>, находят в герое «Записок...» «русского Гамлета»<sup>5</sup>, оторванность о «почвы»<sup>6</sup>, а также следы моральных страданий юного Достоевского в пору обучения в Главном инженерном училище.<sup>7</sup> Отмечалось также стремление писателя оспорить формулу Гегеля «всё

<sup>1</sup> Е. И. Кийко отмечает: «Записки из подполья» — произведение, открывшее новый этап в развитии таланта его автора. Здесь впервые применен принцип построения образа центрального героя, который впоследствии обусловил своеобразие художественной структуры романов Достоевского. Взаимоотношения «подпольного человека» и окружающей действительности в этой повести является результатом (пользуясь термином Б. М. Энгельгардта) его «идеологического отношения к миру» <...> каждая его мысль воспринимается как «реплика незавершенного диалога» и «напряженно живет на границах с чужой мыслью, с чужим сознанием» (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. С. 55–56). Не будучи единомышленником героя, Достоевский наделил рассуждения его такой силой «доказательности», какой впоследствии отличались монологи Раскольникова, Ставрогина и братьев Карамазовых» (5; 378–379).

<sup>2</sup> Подробнее см.: Комарович В. Л. Мировая гармония Достоевского // Властитель дум. Ф. М. Достоевский в русской критике конца XIX — начала XX века. СПб., 1997. С. 601; Толстовский музей. СПб., 1914. Т. 2. С. 309.

<sup>3</sup> См.: Чирков Н. М. О стиле Достоевского. Проблематика, идеи, образы. М., 1967. С. 48.

<sup>4</sup> См.: Бем А. Л. Достоевский — гениальный читатель // Бем А. Л. Исследования. Письма о литературе. М., 2001. С. 47–48.

<sup>5</sup> Отмечено Н. Н. Страховым в статье, посвященной выходу в свет Собрания сочинений Достоевского 1865–1866 гг.: «Отчуждение от жизни, разрыв с действительностью <...> эта язва, очевидно, существует в русском обществе. Тургенев дал нам несколько образцов людей, страдающих этой язвой; таковы его «Лишний человек» и «Гамлет Щигровского уезда» <...> Г — Ф. Достоевский, в параллель тургеневскому Гамлету, написал с большою яркостью своего «подпольного» героя...» (Страхов Н. Н. Наша изящная словесность // Отечественные записки. 1867. № 2. С. 555).

<sup>6</sup> См.: Скафтымов А. П. «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского // Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972. С. 90.

<sup>7</sup> См.: Долинин А. С. Достоевский и Суслова // Ф. М. Достоевский Статьи и материалы. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 160.



действительное разумно, всё разумное действительно».<sup>8</sup>) Повесть Достоевского сравнивалась также с «Племянником Рамо» Д. Дидро.<sup>9</sup> Перечень этот, разумеется, неполон.

Среди текстов, которые оказали на писателя, в том числе и в смысле формирования присущей его творчеству формы исповедальности, особое место, по-видимому, занимают «Опыты» (1580–1588) М. Монтеня. Можно полагать, что Достоевский познакомился с этим произведением еще в пору усиленного юношеского чтения в стенах Главного инженерного училища. (В «Записках из подполья» обнаруживаются следы переживания вопросов, затронутых французским писателем; видимо, повлияла на сложение повести Достоевского и особая повествовательная форма, примененная в «Опытах».) Для такого предположения существуют два основания: схожая форма переключений инстанций повествующего лица и «идеального автора» произведения, а также ряд парафразов и реминисценций из Монтеня, которые мы обнаруживаем в «Записках...», особенно в части I-й «Подполье». С этой точки зрения повесть Достоевского представляет собой набор переосмысленных с историко-культурной позиции XIX в. тем и наблюдений автора «Опытов». Укажем некоторые из них.

Прежде всего обращает на себя внимание повествовательная установка автора «Записок...»: мы видим ориентацию на исповедальность как принципиальную искренность, основанную на самообличении, обнажении самых тайных движений собственного сознания, проявляющуюся в попытке проанализировать скрытые мотивы своих душевных движений и поступков, в отказе от какого-либо снисхождения. Это же авторское намерение декларируется в предисловии к «Опытам» М. Монтеня: «Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я <...> нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. <...> Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике»<sup>10</sup>. Повествователь «Записок из подполья» признается в том же: «Я поминутно создавал в себе много-премного самых противоположных тому элементов. Я чувствовал, что они так и кишат во мне, эти противоположные элементы. Я знал, что они всю жизнь во мне кишели и из меня вон наружу просились, но я их не пускал, не пускал, нарочно

<sup>8</sup> См.: Назиров Р. Г. Об этической проблематике повести «Записки из подполья» // Достоевский и его время. Л., 1971. С. 146.

<sup>9</sup> См.: Розанов В. В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского // Розанов В. В. Мысли о литературе. М., 1989. С. 533 (примеч. 59).

<sup>10</sup> Монтень, Мишель. Опыты: В 3 т. М., 1991. Том. 1. С. 8. Далее ссылки на это издание даются в тексте: при цитате ставится литера «М» и затем через точку с запятой номер тома и страница.



не пускал наружу. Они мучили меня до стыда; до конвульсий меня доводили и — надоели мне наконец, как надоели! Уж не кажется ли вам, господа, что я теперь в чем-то перед вами раскаиваюсь, что я в чем-то у вас прощения прошу?...» (5; 100) Открывая свои «Опыты», Монтень пишет о намерении достичь максимальной откровенности в описании своего мироотношения и жизненного опыта: «Я открываюсь моим близким, насколько могу; с большой готовностью я выражаю им свое расположение и высказываю свое суждение о них, так же как я делаю это по отношению ко всякому человеку. Я спешу проявить и показать свое отношение, так как не хочу вводить на этот счет в заблуждение в каком бы то ни было смысле» (М. 2; 99–100). Первая главка первой части «Записок...» целиком построена на анализе идеи эгоцентрического самосознания, получившего выражение в следующей формуле: «...о чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? / Ответ: о себе. / Ну так и я буду говорить о себе» (5; 101). Монтень также настаивает, что речь человека, о чем бы он ни говорил, фактически, свидетельствует именно о его внутреннем мире: «...кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого» (М. 1; 122).

Тема возраста человека и «медицинский мотив» в повести Достоевского также выглядят взятыми из «Опытов» Монтеня. Герой-повествователь «Записок...» говорит о том, что ему сорок лет, причем двадцать лет он обходится без врачей: «...хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу „нагадить“ тем, что у них не лечусь; я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это со злости. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!» (5; 99) В рамках описанного здесь варианта меланхолического стоицизма «подпольный» утверждает мысль, близкую Монтеню, который заявлял: «Пусть у меня ослабеет рука, ступня или нога, пусть зашатаются все зубы — все же, пока у меня остается жизнь, все обстоит благополучно» (М. 2; 667). Автор «Опытов» цитирует античных авторов, говоря о том, что «каждый, проживший двадцать лет, должен сам понимать, что для него вредно, а что полезно, и уметь обходиться без врачей». Эту мысль он позаимствовал у Сократа, который, советуя своим ученикам прилежно изучать, как важнейшую вещь, свое здоровье, добавлял, что «было бы невероятно, если бы рассудительный человек, следящий за тем, чтобы правильно упражнять свое тело, есть и пить, сколько нужно, не понимал бы лучше всех врачей, что для него хорошо, что плохо» (М. 3; 484).

Особую роль в описании своего самочувствия «подпольный» отводит болезни печени. Он говорит: «Я человек больной... Я злой человек. Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. <...> Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит!» (5; 99) Подобный тип истерического мазохизма детально комментируется Монтенем: «Я видел таких, что глотают песок или золу, всячески стараясь испортить себе желудок, чтобы лицо у них сделалось бледным» (М. 1; 90). Влияние болезни печени на мировоззрение человека — одна из важных тем «Опытов» Мон-



тень: «Больным желтухой все вещи кажутся желтоватыми и более бледными, чем нам) *Lurida praeterea fiunt quaecumque tumentur*»<sup>11</sup> (Отсюда философ делает вывод об искаженном физическим недомоганием мировосприятию человека.) Если «налицо жар в печени и холод в желудке» (М. 2; 691), то «у одних животных глаза желтые, совсем как у наших больных желтухой, а у других — кроваво-красные; весьма вероятно, что цвет предметов кажется им иным, чем нам. Какое же из этих двух суждений будет истинным? Где сказано, что сущность вещей открыта именно человеку?» (М. 2; 420)

Два возраста человека — двадцать и сорок лет, — несколько раз повторяющиеся в «Записках из подполья», упоминаются в качестве ключевых в «Опытах» Монтеня. Герой «Подполья» повторяет: «Я уже давно так живу — лет двадцать. Теперь мне сорок» (5; 100). «Сорок лет сряду будет припоминать до последних, самых постыдных подробностей» (5; 105). Ссылаясь на античных авторов, Монтень постоянно трактует возраст сорок лет как важнейший в жизни человека, он упоминает о том, что «Платон запрещал детям пить вино до восемнадцатилетнего возраста и запрещал напиваться ранее сорока лет; тем же, кому стукнуло сорок, он предписывает наслаждаться вином вволю и щедро приправлять свои пиры дарами Диониса» (М. 2; 24) и т. д.

Анализируя свой возраст, герой Достоевского говорит: «Мне теперь сорок лет, а ведь сорок лет — это вся жизнь; ведь это самая глубокая старость. Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет, — отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут. Я всем старцам это в глаза скажу, всем этим почтенным старцам, всем этим сребровласым и благоухающим старцам! Всему свету в глаза скажу! Я имею право так говорить, потому что сам до шестидесяти лет доживу. До семидесяти лет проживу! До восьмидесяти лет проживу!.. Пойдите! Дайте дух перевести...» (5; 100–101) Этот пассаж героя Достоевского выглядит как реминисценция из «Опытов»: «Я не знаю, на основании чего устанавливаем мы продолжительность нашей жизни. Я вижу, что, по сравнению с общим мнением на этот счет, мудрецы сильно сокращают ее срок. „Как, — сказал Катон Младший тем, кто хотел помешать ему покончить с собой, — неужели, по-вашему, я настолько молод еще, что заслуживаю упрека в желании слишком рано уйти из жизни?“ А ему было всего сорок восемь лет. Сообразуясь с тем, что лишь немногие люди достигают этого возраста, он считал его весьма зрелым и преклонным» (М. 1; 496). В другом месте «Опытов» Монтень пишет: «Я не раз думал о себе, что слишком долго живу и что, пустившись в такой долгий путь, должен быть готов к какой-нибудь малоприятной встрече. Я прекрасно сознавал это и считал, что пора мне отправляться восвояси, что надо резать сразу, по живому телу, действуя, как хирург, когда он удаляет больному тот или иной орган. Я знал, что того, кто не

<sup>11</sup> «На что ни посмотрит больной желтухой, все кажется ему желтоватым» (лат.) — слова Лукреция.



сделает этого вовремя, природа, по обыкновению, заставит платить очень тяжкие проценты. Однако мои ожидания не сбылись. Мне совсем недолго пришлось готовиться. Прошло всего около полутора лет, как я оказался в этом незавидном положении, и вот уже сумел к нему приспособиться. Я уже примирился со своей болезнью и принял, как должное, ее приступы. Я нахожу себе и утешения и даже какие-то надежды в этой жизни. Столько людей свыкается со своими бедами, и нет столь тяжелой участи, с которой человек не примирился бы ради того, чтобы остаться в живых!» (М. 2; 667)

Обратим внимание и на то, что «подпольный» переживает свой сорокалетний возраст как кризисный, надеясь обрести наконец искомые им смысл и оправдание своего существования. Самому Достоевскому в начале 1860-х гг. только что исполнилось сорок лет, и он надеялся своим новым «большим» романом «упрочить свое имя». Разумеется, он с особым волнением должен был читать следующие строки из «Опытов» Монтеня: «Если бы я стремился говорить как ученый, я заговорил бы раньше: я начал бы писать в годы, более близкие к годам моего учения, когда ум мой был изощреннее, а память лучше, и если бы труд писателя я пожелал сделать своим ремеслом, то задача эта была бы моему юному возрасту более по силам, чем теперешнему. И, кроме того, если бы благодаря моему труду мне улыбнулось счастье, оно бы выпало в гораздо более благоприятное для меня время. Двое моих знакомых, люди в этой области выдающиеся, наполовину, по-моему, потеряли, не выступив со своими произведениями, когда им было сорок лет, а предпочтя дожидаться шестидесятилетнего возраста» (М. 3; 450).

Монтень утверждает суетность и тщетность попыток «общественного человека» сделаться в этом мире «чем-то», обрести некое «амплуа», занять какую-то «позицию». Он пишет: «Не являясь гражданином ни одного города, я был весьма рад сделаться гражданином самого благородного из всех, какие когда-либо были или когда-либо будут. Если бы и другие всматривались в себя так же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой тщетой и всяким вздором. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой, но кто это чувствует, тот все же менее заблуждается; впрочем, может быть, я и неправ.

Всеобщее обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благодетельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное зрелище: суетность и убожество — вот и вся наша сущность. Чтобы не отнять у нас бодрости духа, природа направила — и, надо сказать, весьма кстати — деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывем по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе — дело исключительно трудное; ведь и море злится и препятствует себе самому, когда, встретив преграду, отходит назад» (М. 3; 361).



Аналогичный опыт имеет и герой Достоевского: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу, дразня себя злобным и ни к чему не служащим утешением, что умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак» (5; 100).

Попытка человека активно настаивать на своей ценности для общества вызывает глубочайший сарказм у Монтеня, поддержанный героем Достоевского. Автор «Опытов» пишет: «Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не слишком гордиться собой. Столько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечивать в истории свое имя захватом **какого-нибудь курятника**, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения, или взятием в плен десятка конных вояк» (М. 1; 251). В том же русле тему глубокой разницы между *курятником* и *дворцом*, которую осознает горделивое сознание «входящего в историю» деятеля, продолжает «подпольный»: «Вот видите ли: **если вместо дворца будет курятник** и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтоб не замочиться, но все-таки курятника не приму за дворец из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы — все равно. Да, — отвечаю я, — если б надо было жить только для того, чтоб не замочиться» (5; 120).

Быстротечность и безвозвратность прожитого мгновения — одна из важнейших тем Монтеня: «Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это возвращать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь» (М. 1; 142). Отсюда делается вывод о бесконечной важности насущного мгновения, потому что оно есть реальность на фоне эфемерного будущего и уже прожитого прошлого: «Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последний только подводит к ней» (М. 1; 148). С другой стороны, все наши желания и надежды суть хищные существа — они существуют за счет гибели или подавления желаний и надежд других людей: «Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются, по большей части, за счет кого-нибудь другого. Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесь верна установленному ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели, **зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой**» (М. 1; 167). Обостряя этот вопрос, «подпольный человек» заключает: «...на деле мне надо, знаешь чего: чтоб вы провалились, вот чего! Мне надо спокойствия. Да я за то, чтоб меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (5; 174).



Из этого аморализма, развитого впоследствии Ницше в его апологии «сверхчеловека», возникает вопрос об отличии человека от животного — важнейшая тема «Подполья» Достоевского и «Опытов» Монтеня. Надо сказать, что оба мыслителя выразили здесь свои симпатии животным, высказав в адрес человека немало сарказмов и иронических суждений. Повествователь Достоевского уверен, что способность ругаться и проклинать — главное, чем человек отличается от животных: «...проклинать может только один человек (это уж его привилегия, главнейшим образом отличающая его от других животных), так ведь он, пожалуй, одним проклятием достигнет своего, то есть действительно убедится, что он человек, а не фортепьянная клавиша!» (5; 117) Монтень отмечает у человека «животную беззаботность», но лишь в случае, «если только она возможна у сколько-нибудь мыслящего человека (по-моему, она совершенно невозможна)» (М. 1; 130). С другой стороны, Достоевский пытается судить о муравьях с точки зрения их бытийного смысла, каким он видится по их поступкам: «У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое, — муравейник. С муравейника достопочтенные муравьи начали, муравейником, наверно, и кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблагоприятное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не самую цель...» (5; 118) Цитируя Плутарха, Монтень отмечает, что животное от животного не отличается так сильно, как человек от человека: «...я выразился бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между иными людьми разница часто большая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными» (М. 1; 403).

Монтень считает, что даже дар речи не является привилегией человека, этим свойством его отличие от животного описать нельзя: «Что касается дара речи, то если он не дан природой, без него можно обойтись. <...> Нет оснований думать, что природа отказала бы нам в этой способности, которою она наделила многих других животных, ибо их способность, пользуясь голосом, жаловаться, радоваться, призывать на помощь, склонять к любви разве не есть речь? Почему бы им не разговаривать друг с другом, раз они разговаривают с нами, как и мы говорим с ними? Разве мы не разговариваем на все лады с нашими собаками? И они нам отвечают! Мы разговариваем с ними другим языком, другими словами, чем с птицами или со свиньями, или с волами, или с лошадьми; мы меняем свою речь в зависимости от вида животных, с которыми мы говорим» (М. 2; 190). Общественное устройство также не критерий, цитируя итальянского классика, Монтень указывает: «Cosi per entro lora schiera bruna, S'ammusa l'una con l'altra formica, Forse a spiar lor via, et lor fortuna» (М. 2; 190)<sup>12</sup>. Животное получает в рассуждениях «подпольного» и Монтеня особое значение.

<sup>12</sup> «Так, в темной куче муравьев можно увидеть таких, которые плотно, голова к голове, приблизились один к другому, словно для того, чтобы следить друг за другом, за намерениями и удачами другого» (ит.) — слова Данте.



Оба автора говорят о преимущественном положении насекомого (особенно — муравья) в сравнении с человеком. Точкой тематического соприкосновения «Опытов» и «Записок из подполья» является сравнение обоими повествователями себя с насекомыми для указания на тщетность и краткость земного бытия человека. «Подпольный» говорит: «Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым. Теперь же доживаю в своем углу...» (5; 100) Монтень подчеркивает: «Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? <...> Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часов утра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов вечера умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных» (М. 1; 143). Герой Достоевского говорит: «Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым» (5; 102).

С другой стороны, Монтень подозревает в муравьях не только разумную, но и духовно-религиозную жизнь: «Мы не можем утверждать, что у них нет религии, на том лишь основании, что мы не наблюдаем ничего подобного у других животных, ибо не можем судить о том, что от нас скрыто. <...> А мы, которые не в состоянии проникнуть в сущность этого общения, беремся — как это ни глупо — судить об их действиях» (М. 2; 205–206). Монтень считает, что и хозяйственная жизнь муравейника значительно превышает по своему организационному уровню человеческую цивилизацию<sup>13</sup>, указывая, что «для нашей обыденной жизни нам требуется гораздо больше правил, установлений и законов, чем журавлям и муравьям для их жизни, а между тем мы видим, что они живут по строго заведенному порядку, не имея никакого представления о науке. Если бы человек был мудр, он расценивал бы всякую вещь в зависимости от того, насколько она полезна и нужна ему в жизни» (М. 1; 141).

<sup>13</sup> «Так, например, когда муравьи замечают, что хранимые ими зерна и семена начинают сыреть и отдавать затхлостью, они раскладывают их на воздухе для проветривания, освежения и просушки, опасаясь, как бы они не испортились и не стали гнить. Но особенно замечательно, с какой предусмотрительностью и предосторожностью они обращаются с семенами пшеницы, далеко превосходя в этом отношении нашу заботливость. Ввиду того, что зерна пшеницы не остаются навсегда сухими и твердыми, с течением времени увлажняются и размягчаются, готовясь прорасти, муравьи из страха лишиться сделанных ими запасов отгрызают кончик зерна, из которого обычно выходят ростки» (М. 2; 213).



Если «подпольный» уверен, что «человек есть животное, по преимуществу созидающее, принужденное стремиться к цели <...> беспрерывно дорогу себе прокладывая хотя куда бы то ни было» (5; 118), то Монтень сожалеет о человеке, как самом несчастном из животных, который сам «нелепыми умствованиями» (М. 1; 318) отрезает себе возможность наслаждаться жизнью. Возможность объяснить все это человеку «подпольный» называет «золотой мечтой» человечества: «О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости <...>?» (5; 110) «Неблагодарность» Монтень считает одним из самых важных грехов человека, связывая его с «жадностью», «глупостью» и «неразумием», обращаясь к этому свойству человека более десятка раз на страницах своих «Опытов». Он цитирует Сенеку («Stulti vita ingrata est, trepida est, tota in futurum fertur»<sup>14</sup>), размышляя о том, что жизнь неблагодарного человека «является преходящей», «мучительной и докучной» (М. 3; 538). Герой Достоевского согласен с этими определениями: «Я даже думаю, что самое лучшее определение человека — это: существо на двух ногах и **неблагодарное**. Но это еще не все; это еще не главный недостаток его; главнейший недостаток его — это постоянное неблагонаравие, постоянное, начиная от Всемирного потопа до Шлезвиг–Гольштейнского периода судеб человеческих» (5; 116).

Важнейшая тема «Подполья» — проблема этических и онтологических оснований для существования добра. Монтень задает вопрос: «Верно ли, что для того, чтобы быть добрым до конца, надо быть им в силу какого-то тайного, естественного и общего свойства, без всякого на то закона, или основания, или примера?» (М. 2; 146) В повести Достоевского герой настаивает, что он имеет это свойство, однако обстоятельства не позволяют им раскрыться: «Я тоже не выдержал и зарыдал так, как никогда еще со мной не бывало... / — Мне не дают... Я не могу быть... добрым! — едва проговорил я, затем дошел до дивана, упал на него ничком и четверть часа рыдал в настоящей истерике» (5; 175). Будто комментируя характер героя Достоевского как «русского Гамлета», Монтень развивает мысль о существовании трех типов людей в их отношении к добродетели, причем третий тип отличается тем, что способен «по Божьему изволению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушения были уже вырваны с корнем, чем, подавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и преодолеть их». Это «люди невинные, но и не добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро» (М. 2; 142–143). «Невинность» подпольного типа, обрисованного Достоевским, также коренится

<sup>14</sup> «Жизнь глупца неблагодарна, трепетна, целиком обращена в будущее» (лат.).



в безыскусственной искренности всех его поступков, имеющих объективно злое или доброе содержание.

«Подпольный» утверждает, что сознание человека, отгораживающее его телесно и бытийно от других существ и всего Мироздания, — это болезнь: «Клянусь вам, господа, что слишком сознавать — это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцатого столетия»; «я крепко убежден, что не только очень много сознания, но даже и всякое сознание болезнь. Я стою на том» (5; 102) — утверждает, получая, однако, от этого состояния истинное наслаждение. По мнению Монтеня, цель жизни человека — получение наслаждения, которое он трактует весьма широко, говоря о наслаждении сомнением: «*Che non men che saper dubiar m'agarada*» (M. 1; 239)<sup>15</sup>.

Близкий по своей психологии к «подпольному парадоксалисту» герой «Преступления и наказания» Свидригайлов развивает мысль о том, что сознание больного человека может быть более чувствительно к некоторым явлениям, не замечаемым здоровым человеком. Монтень же пишет: «Всякому должно быть ясно, что воспринимаемые нами вещи не сохраняют свою форму и сущность их не входит в наше сознание сама, своей властью; ибо, если бы мы знали вещи, как они есть, мы воспринимали бы их одинаково: вино имело бы такой же вкус для больного, как и для здорового; тот, у кого пальцы потрескались и окоченели от холода, должен был бы ощущать твердость дерева или куска железа, который он держит в руках, так же как и всякий другой человек. Восприятие сторонних предметов зависит от нашего усмотрения, мы воспринимаем их как нам угодно. Ведь если бы мы воспринимали вещи, не изменяя их, если бы человек способен был улавливать истину своими собственными средствами, то, поскольку эти средства присущи всем людям, истина переходила бы из рук в руки, от одного к другому. И нашлась бы по крайней мере хоть одна вещь на свете, которую все люди воспринимали бы одинаково. Но тот факт, что нет ни одного положения, которое не оспаривали бы или которого нельзя было бы оспаривать, как нельзя лучше доказывает, что наш природный разум познает вещи недостаточно ясно; ибо восприятие моего разума не обязательно для моего соседа — а это доказывает, что я воспринял данный предмет не с помощью естественной способности, которая присуща мне наравне со всеми прочими людьми, а каким-то другим способом» (M. 2; 361).

С другой стороны, пишет «подпольный», некоторые люди имеют право превышать логику «дважды два — четыре» и нарушать сложившиеся в обществе порядки (затем схожую логику будет развивать Раскольников

<sup>15</sup> «Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание» (*ит.*) — слова Данте.



ков в «Преступлении и наказании»): «...я хоть и доложил вначале, что сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. Сознание, например, бесконечно выше, чем дважды два. После дважды двух уж, разумеется, ничего не останется, не только делать, но даже и узнавать. Все, что тогда можно будет, это — заткнуть свои пять чувств и погрузиться в созерцание» (5; 119). Аналогичное рассуждение мы встречаем и в «Опытах» Монтеня: «Можно быть ученым без заносчивости и чванства <...>. Пусть он избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не стремится прослыть человеком, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая» (М. 1; 245). В этом чрезмерном развитии сознания винит себя «подпольный»: «Потому, во-первых, виноват, что я умнее всех, которые меня окружают. (Я постоянно считал себя умнее всех, которые меня окружают, и иногда, поверите ли, даже этого совестился. По крайней мере, я всю жизнь смотрел как-то в сторону и никогда не мог смотреть людям прямо в глаза)» (5; 103).

Герой Достоевского жалуется, что общество налагает на него слишком жесткие ограничения, бессмысленные и жестокие, сравнивая их с каменной стеной: «„Помилуйте, — закричат вам, — восставать нельзя: это дважды два четыре! Природа вас не спрашивается; ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ль вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следственно, и все ее результаты. Стена, значит, и есть стена... и т. д., и т. д.“ Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если и в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватило» (5; 106).

Жестокость, проявляемая людьми, по мнению повествователя «Записок...», объясняется тем, что человек не желает применять к другим ту же систему ценностей, в которой он оценивает свои собственные поступки. Он сомневается, что Бокль прав, говоря о том, что «от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее способен к войне. По логике-то, кажется, у него и так выходит. Но до того человек пристрастен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить правду, готов видом не видеть и слухом не слышать, только чтоб оправдать свою логику. Потому и беру этот пример, что это слишком яркий пример. Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон — и великий, и теперешний...» (5; 112) Применяя тот же логический ход, Монтень



видит причину насилия в нежелании человека уравнивать себя в правах с другим. В своих «Опытах» он призывает отказаться «от насилия и принуждения; нет ничего, по моему мнению, что так бы уродовало и извращало натуру с хорошими задатками» (М. 1; 264). Согласно мнению французского философа, «наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой» (М. 2; 17).

Вторая часть «Записок из подполья» — «По поводу мокрого снега» — посвящена попыткам героя найти признание своих достоинств у друзей и у женщины. В роли первых выступают его бывшие одноклассники во главе со Зверковым, которые ни в грош его не ставят, во второй роли — проститутка Лиза, которую он, по рецепту, изложенному в эпиграфе из известного стихотворения Н. А. Некрасова, пытается наставить на «путь истинный», — попытка тем более глупая, что на самом деле оказалась успешной. В этих попытках получить признание в глазах другого человека «подпольный» реализует свое ущербное и страдающее «я». В своих «Опытах» Монтень уделил много места вопросу о необходимости казаться в чужих глазах более значительным, чем ты есть на самом деле. Хотя человеку свойственно желать, чтобы окружающие подчеркивали его значительность, основную «выгоду» человека французский философ видит в возможности быть самим собой, не подчиняясь бытовым обстоятельствам и сложившимся в группах людей «рейтингам»: «Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, наша душа должна быть стойкой и добродетельной; нет, она должна быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного... <...> Это — выгода гораздо большая, и жаждать, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас» (М. 2; 461).

Парадоксальность миропонимания интеллектуала, стремящегося быть честным перед собой и перед людьми, и одновременно постоянно совершающего низкие и глупые поступки, является существенным вкладом автора «Опытов» в мировую философскую сокровищницу. Глава V «О стихах Вергилия» третьей книги «Опытов» содержит развернутые описания такого рода этических парадоксов, когда человек, стремящийся к репутации благородного и возвышенного, совершает отвратительные поступки. Здесь мы находим глубокий анализ действий «неблагодарных, нескромных и до крайности ветреных людей», которые «проявляют величайшую гнусность и низость, позволяя себе так беспощадно терзать, топтать и разбрасывать столь нежные дары женской благосклонности» (М. 3; 131).

Самым большим проявлением низости человека Монтень считал «презрение к Богу» и «страх перед людьми»: «Нельзя выразительнее обрисовать мерзость, низость и противоестественность этого порока, ибо можно ли представить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми и дерзким перед Богом?» (М. 2; 533) Как будто продолжая эти рассуждения, герой Достоевского подтверждает: «Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно



честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом. Повторяю, ведь сплошь да рядом из наших романтиков выходят иногда такие деловые шельмы (слово „шельмы“ я употребляю любя), такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают» (5; 127).

Вторая часть повести, «По поводу мокрого снега», должна была, по замыслу Достоевского, привести «подпольного» к вере к Богу. Писатель сообщал об этом брату в своем письме от 26 марта 1864 г.: «...уж лучше было совсем не печатать предпоследней главы (самой главной, где самая-то мысль и высказывается), чем печатать так, как оно есть, т. е. надерганными фразами и противуреча самой себе. Но что же делать? / Свины цензора, там, где я глумился над всем и иногда богохульствовал для виду, — то пропущено, а где из всего этого я вывел потребность веры и Христа, — то запрещено...» (28<sub>2</sub>; 73) Слово «надерганными» указывает, что Достоевский отдавал себе отчет в цитатности философских рассуждений своего героя — в достаточно широком круге источников этих цитат, по нашему мнению, оказываются и «Опыты» М. Монтеня.